

Науки о тексте и науки о действии

Круглый стол

«XXVIII БАННЫЕ ЧТЕНИЯ
“ТРАНСФОРМАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ”»

1 апреля 2022 года

Round Table. "XXVIII Bath House Readings
‘Transformation of Humanitarian Knowledge in Post-Soviet Russia.’" April 1, 2022

УДК: 30+80

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_64

В дискуссии выступили: **Александр Филиппов** (НИУ ВШЭ), **Михаил Маяцкий** (независимый исследователь), **Олег Хархордин** (Европейский университет в Санкт-Петербурге), **Павел Арсеньев** (Женевский университет), **Сергей Зенкин** (Свободный университет, РГГУ и НИУ ВШЭ), а также главный редактор «Нового литературного обозрения» **Ирина Прохорова** и другие участники «Баннных чтений», которые задавали вопросы докладчикам.

UDC: 30+80

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_64

The following speakers took part in the discussion: **Alexander Filippov** (HSE University), **Michail Maiatsky** (independent researcher), **Oleg Khar-khordin** (European University at St. Petersburg), **Pavel Arsenev** (Université de Genève), **Sergey Zenkin** (Free University, RSUH, HSE University), along with the editor-in-chief of the *New Literary Observer* Publishing House **Irina Prokhorova** and other participants of the Bath House Readings who asked questions to the speakers.

Ирина Прохорова: От лица «Нового литературного обозрения» я приветствую вас на 28-й ежегодной конференции «Баннные чтения». В последнее время многие коллеги задаются вопросом, возможно ли заниматься любимой профессией в ситуации, в которой мы все против воли оказались. Мне представляется, что как раз сейчас нам и нужно рефлексировать по поводу наших занятий, потому что речь идет не просто о разговорах о трансформации гуманитарного знания в постсоветской России, как мы назвали эту конференцию еще, так сказать, в довоенное время. Речь идет о судьбе профессии; не только о славистике как дисциплине, но и о том, чем может и должен заниматься

гуманитарий сегодня в России, потому что у всех есть ощущение, что дальше работать по привычке невозможно и требуется более глубокое осмысление перспектив нашего дальнейшего существования. Наша конференция и посвящена пересмотру основ нашей деятельности с точки зрения журнала, который в этом году празднует свое тридцатилетие. Его главный посыл в начале девяностых годов состоял в радикальном пересмотре состояния гуманитарного знания. Тогда было то же ощущение, что дальше невозможно работать так, как работали в советский период; надо было активно осваивать новые тренды, новые направления мировой гуманитаристики, от которой мы были отрезаны долгие годы. Сегодняшняя конференция будет, с одной стороны, посвящена тому, насколько изменилось российское гуманитарное знание за эти тридцать лет, а с другой — насколько оно действительно готово к радикальному пересмотру имперской государственной истории, которая у нас до сих пор остается главным вектором преподавательской и исследовательской работы.

С момента основания конференции «Банные чтения» в 1993 году нашей главной задачей были не просто выступления, а мощная дискуссия после каждого доклада. В этом году мы начинаем нашу конференцию с круглого стола, что очень символично, потому что в свое время, в далеком 1996 году, в 17-м номере НЛЮ по инициативе Сергея Зенкина был опубликован круглый стол, который назывался «Философия филологии». В нем участвовали замечательные коллеги, представители разных дисциплин, некоторых из них, увы, уже нет с нами; Владимир Бибахин, Михаил Гаспаров, Екатерина Деготь, Борис Дубин, Сергей Зенкин, Андрей Зорин, Вера Мильчина, Валерий Подорога обсуждали, в каком состоянии находятся их дисциплины и предметы их исследований. Это был срез той эпохи, и сегодня наша идея состояла в том, чтобы посмотреть, каково нынешнее состояние гуманитарного знания столько лет спустя, насколько оно готово к серьезным переосмыслениям и профессии, и предмета исследования, и поэтому я с радостью передам слово Сергею Зенкину, который вновь модерировать организованный им новый круглый стол.

Сергей Зенкин: Я должен начать с благодарности редакции журнала в лице Ирины Прохоровой и Татьяны Вайзер, которые предложили мне подготовить этот круглый стол; посмотрим, что из него выйдет.

Мы собрались за этим виртуальным столом в чисто мужской компании, это неправильно, но получилось случайно: одна очень известная ученая дама, которая собиралась принять участие в нашей дискуссии, вынуждена была в последний момент отказаться. Другие два параметра дискуссии выбраны сознательно. Во-первых, здесь находятся люди, работающие как в России, так и за ее пределами, и во-вторых, за исключением меня самого все остальные коллеги являются нефилологами или не совсем филологами. Александр Филиппов и Олег Хархордин — политические философы, Михаил Маяцкий — философ более широкого профиля, а Павел Арсеньев хотя и защитил диссертацию по литературе, но приглашен сюда скорее в качестве медиолога — специалиста по материальным носителям культуры и по материальным реализациям литературного творчества. Задача в том, чтобы посмотреть на филологию со стороны, глазами других наук.

Конференция затевалась несколько месяцев назад, и предполагалось осмыслить завершающийся, а может быть, уже завершившийся период в истории российского гуманитарного знания. К сожалению, сегодня этот период не то чтобы

завершился, но оборвался самым катастрофическим образом, и для отечественной науки случившиеся с тех пор события — так называемая специальная военная операция на территории Украины, реакция на нее мирового сообщества, изменения во внутреннем климате России — грозят самыми скверными последствиями. В ближайшей перспективе можно вполне реалистически предвидеть, во-первых, обнищание науки (средств на всех не хватит), во-вторых, уже начавшийся и далеко зашедший разрыв с мировой наукой, изоляцию если не интеллектуальную, то организационную, включая отток лучших мозгов, и, в-третьих, усиление в научных институтах России цензуры, мракобесия и академической коррупции. Эти тенденции очень хорошо уживаются вместе. Сейчас приходится с ностальгией и одновременно с ужасом оглядываться на то, что было раньше, и пытаться подвести какие-то итоги.

Как мне видится, последние тридцать лет для постсоветских гуманитарных наук были важным периодом накопления знаний, идей, квалификации. Российские исследователи интегрировались в мировой научный контекст, происходил массовый импорт идей и текстов из-за границы, образовалась огромная и очень ценная библиотека переводов иностранных научных и философских исследований, в ней собралось большое количество книг, многие из них вполне качественно, грамотно изданные. Я не уверен, что этот импорт идей сопровождался столь же интенсивным экспортом, то есть созданием конкурентоспособных научных концепций, интуиций, научных школ, которые бы утвердили нашу науку в мире. Об экспортных возможностях российских гуманитарных наук давно уже размышляли социологи знания, например Михаил Соколов и Кирилл Титаев в своей знаменитой статье о «провинциальной» и «туземной» науке¹; получалось, что современная российская гуманитарная наука — это наука преимущественно провинциальная, ориентирующаяся на заграничные научные столицы, но занимающаяся главным образом тем, что снабжает их местным материалом, прилагая к нему их идеи. Год назад, тоже в апреле, но уже как будто в прошлой жизни, мы с Олегом Хархординым вместе участвовали в специальной конференции в Тюмени, которая была посвящена проблеме этой вынужденной или добровольной провинциализации российской науки². К сожалению, сегодня есть опасность провалиться уже не в провинциальную, а в туземную науку, которая вообще знать не знает никаких «столиц» и живет в своем изолированном мире.

Еще одна важная перемена, которая стала исходной идеей этого круглого стола, — изменение воображаемой иерархии наук в России. В Советском Союзе, особенно позднем, царицей гуманитарных наук была филология, что объяснялось идеологическим подавлением социальных наук, выхолащиванием философии и социологии. Именно филология оказалась хранительницей культурного наследия, великой традиции, прерванной в советский период, поэтому ведущие филологи воспринимались как совесть нации. В восьмидесятых годах несколько знаменитых филологов — Дмитрий Лихачев, Сергей Аверинцев, Вячеслав Всеволодович Иванов — стали народными депутатами СССР, это была высшая честь не только для них, но и для науки, которую они

1 Соколов М., Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239–275.

2 Конференция «Ревность к Копернику: международный кругозор российской науки», 24–25 апреля 2021 г.

представляли. Сегодня же само понятие культурной традиции оказалось под вопросом после ее постмодернистского пересмотра, и это особенно заметно в последние месяцы, в контексте нервных дискуссий о том, насколько русская культура виновата в происходящем и насколько она состоятельна перед лицом случившихся событий. Во всяком случае, несомненно другое: филология, изучающая историю культуры, прежде всего литературную, в сознании общества уступила место другим наукам, прежде всего общественным, таким как обновленная социология и вновь появившаяся политическая наука, которой вообще не было в Советском Союзе; поэтому есть возможность посмотреть на филологию инодисциплинарными глазами.

Филология по своей природе накопительная, сохраняющая наука, обращенная в прошлое; она лишь иногда преодолевает себя в производстве общих научных идей и тогда называется теорией литературы, которая активно развивалась в XX веке (в том числе и в нашей стране) и многого добилась. В качестве такой охраняющей — не охранительной, разумеется, но сберегающей наследие — науки филология изучает языки и тексты прошлого, то есть неподвижные, часто просто мертвые, мало кому понятные сегодня памятники культуры. Она не привыкла рассматривать *действия*, социальные или индивидуальные. История литературы пытается преодолевать эту ограниченность, находить и в текстах литературы, и в жизни их создателей действенную составляющую (отсюда, например, биографии писателей, которые часто выходят за пределы собственно анализа их текстов). И все же главная роль в исследовании действия, конечно, у социальных наук. Они могут предложить филологии некоторые объяснительные схемы — так, в современной отечественной филологии большим успехом пользуется социологическая теория Пьера Бурдьё. Переход от изучения текста к изучению действия имеет не только российское, но и мировое измерение, потому что его можно рассматривать как реакцию на обесценивание любых текстов, художественных и нет. В ситуации, которая называется сегодня ситуацией постправды, когда любые слова кажутся сомнительными и малоавторитетными, именно действие может стать тем оселком, на котором измеряется достоинство текстов. Социальные науки, науки о действии, могли бы, как мне видится, создать новую основу, новую эпистемологическую базу для обновления филологических исследований. Вопрос в том, сумеют ли и в мировом масштабе, и в нашем печальном российском контексте гуманитарные и социальные науки — науки о тексте и науки о действии — найти какой-то новый альянс, новую возможность продуктивного взаимодействия.

Дальше я передаю слово своим коллегам. Александр Филиппов, может быть, вы начнете?

Александр Филиппов: У меня есть небольшой написанный текст и есть небольшая моментальная реакция на то, что вы сейчас сказали. Первое, что я хотел сказать: обстоятельства, в которых находятся сейчас наши науки, находимся мы все, достаточно печальные. Я не вижу особого резона об этом умалчивать. Если не у всех, то у большинства из нас есть друзья, или коллеги, или просто знакомые, которые сейчас в Киеве, Харькове, в других местах, находящихся под угрозой, и какие-то жалобы на будущее гуманитарных наук в Москве, где тепло, светло и тихо, с некоторым удивлением могут восприниматься людьми в том же Харькове, с которым еще некоторое время назад удавалось связаться, или в Днепре (Днепропетровске), или в Киеве. Разумеется, невоз-

можно постоянно повторять одно и то же, но и делать вид, что этого нет, было бы неправильно, и я специально подчеркиваю это в самом начале. Тем не менее это не отменяет и второго обстоятельства, с которого я начал: перспективы науки в России, я считаю, плохие. Они плохие потому, что мы рискуем оказаться в ситуации, с одной стороны, достаточно хорошо нам знакомой и именно поэтому кажущейся отчасти безобидной, то есть в ситуации позднего Советского Союза, когда мы с трудом получаем какие-то тексты, но, получив их, чувствуем себя на вершине мировой науки. То есть мы читаем тот же текст, который читают ученые по всему миру, и мы тоже как бы мировые ученые, потому что мы читаем одни и те же тексты. Думаю, что здесь не надо быть социологом, для того чтобы это сказать, но все равно как социолог я считаю, что наука не делается в библиотеке, даже филологическая наука, а уж любая другая — тем более. Наука делается в лаборатории, она делается в курилке, она делается на конференции, она делается там, где происходит передача знания буквально из рук в руки. Живое общение между равными и живое общение ученика с мастером не может быть заменено ничем, то есть то отсечение от мировой науки в плане личного общения и передачи знания, которое мы все предвидим, как я полагаю, будет иметь катастрофический характер. Эта провинциализация, или превращение науки в туземную, — это не то, что является предметом дискуссии, здесь не о чем дискутировать. Какое-то время те, кто являются инкорпорированными носителями знания, полученного из рук в руки, будут его передавать ученикам, а потом возникнет разрыв. Этот разрыв невозможно преодолеть никакими средствами, скажем, с помощью пиратского присвоения текстов, к которому мы привыкли, или замыкания в стенах библиотеки. Это первое, что я хотел сказать; с этим придется так или иначе иметь дело, но лучше это принимать как неизбежность, чем по этому поводу дискутировать.

Теперь я бы хотел произнести краткий текст, связанный с вопросом о действительности, который поставил Сергей Николаевич, поскольку с проблемой действия тоже не все просто. Пока мы можем говорить научным языком и ставить научные проблемы, это нужно пытаться делать. Этот короткий текст называется «Что значит быть наукой о действительности?».

В первой половине XX века — и даже немного позже — одно из самоназваний социологии было «наука о действительности». Это вообще-то немецкое выражение, но пафос стремления к действительности разделяли социологи разных стран, в том числе Франции и Америки. Изучение действительности противопоставлялось не просто выдумкам и метафизическим схемам, оно отличалось — как однажды сформулировал Ханс Фрайер (и в этом его поддержал Парсонс) — от наук о логосе, то есть о смыслах³. Это кажется, на первый взгляд, довольно простым, но некоторые сложности здесь есть. Я сразу укажу на одну из них. По-русски «действительность» переключается с «действием», хотя, ко-

3 Эту историю при более подробном изложении пришлось бы начинать по меньшей мере с Генриха Риккерта и Макса Вебера, но именно Фрайер в 1930 году положил классификацию «науки о природе / о логосе / о действительности» в основу амбициозного проекта. См.: *Freyer H. Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964. S. 79 ff., 169 ff., 199 ff.; *Parsons T. The structure of social action*. New York: MacGraw Hill, 1937. P. 762, fn. 1.

нечно, стоит только назвать ее «реальностью», и переключка исчезнет. Это иногда мешает переводчикам, которые имеют дело с немецкой и английской версиями одного и того же термина. Действие — это старая, почтенная область изучения для социологов. Макс Вебер, на которого во многом опирался и которого критиковал Фрайер, называл социологию наукой о действительности, и он же называл ее наукой о социальном действии. Действие же, напомним его определение в сокращенной форме, — это осмысленное поведение⁴. И вот здесь обнаруживается самое сложное. Если вы хотите разобраться с действием, говорит Вебер, вы должны его *понять* и *истолковать*, а тем самым *каузально объяснить его протекание и его результат*. Формулировка известная и очень коварная. Понять и истолковать действие — значит выяснить смысл действия. Иначе говоря, социология может стать наукой о смысле, о смыслах, то есть, в терминах Фрайера, наукой о логосе. И собственно говоря, когда Поль Рикер предлагал исследовать осмысленное действие как текст и начинал с определений Вебера, он сосредоточивался именно на смысле⁵. К этому я еще вернусь. Но протекание и результат действия определяются вовсе не одним только субъективным смыслом! Дональд Дэвидсон приводил немного искусственный, но показательный пример: некто путешествует на самолете и намерен лететь в Лондон, Великобритания, идет по указателям со стрелками и улетает в Лондон, провинция Онтарио в Канаде (дело было еще в шестидесятые годы прошлого века). Его *резоны* позволяют понять, почему он вообще сел на самолет, направляющийся в Лондон, но в терминах интенционального действия резоны не позволяют понять, почему он улетел в другую страну, чем собирался⁶.

Задачей Дэвидсона в данном случае было исследование понятия намерения. Ирвинг Гофман подошел к делу с другой стороны, но не без влияния Дэвидсона. Если мы разовьем приведенный выше пример, то скажем, что все время полета путешественник мог определять свою ситуацию как «полет в Лондон, Англия». В социологии есть известная теорема Томаса, которая стала общим местом: «Если люди описывают ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям». Однако если в самолете путешественник определяет свою ситуацию как «полет в Лондон, Англия», он в результате все равно прилетит в Лондон, Онтарио. Определения ситуации как реальной недостаточно, говорит Гофман в «Анализе фреймов», это «влечет за собой определенные последствия, но, как правило, они лишь косвенно влияют на последующий ход событий»⁷. Из смысла действия, будь то субъективный смысл или целый универсум смыслов, не выводится действительность действия, как и наоборот.

-
- 4 Вебер достаточно последовательно использует термин «Handeln», когда говорит об общих характеристиках особого рода человеческого поведения. Поэтому я предпочитаю переводить его как «действие», оставляя «действительность» для «Handlung». См.: Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова. М.: Рипол Классик, 2018. С. 154 и далее.
 - 5 Рикер П. Модель текста: осмысленное действие как текст / Пер. с англ. А. Борисенковой // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 29.
 - 6 См.: «Его резоны объясняют, почему он намеренно сел на самолет “на Лондон”. <...> И, конечно, его резоны не могут объяснить, почему он намеренно сел на самолет, направлявшийся на Лондон, Онтарио, если у него не было такого намерения» (Davidson D. Essays on Action and Events. New York: Oxford University Press, 2001. P. 76).
 - 7 См.: Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р.Е. Бумагина, Ю.А. Данилова, А.Д. Ковалева, О.А. Оберемко. М.: ИС РАН, 2003. С. 61.

С социальной действительностью есть та проблема, что она, помимо смысла, кажется неуловимой. Можем ли мы говорить о ней, не говоря некоторым образом о смысле? Луман назвал смысл основным понятием социологии⁸, и он же сформулировал основную особенность смысла. Это особый вид отрицания, когда отрицаемое не уничтожается, но сохраняется как возможность. Возможно, это звучит несколько темно — тем более при сжатом изложении. Но я попытаюсь внести некоторую ясность, хотя и с неизбежными упрощениями. По Луману, социальное — это множественность элементарных событий, которые возникают на краткое время и потом исчезают. События моментальны, процессы складываются из череды событий. События, как и все социальное, контингентны, то есть все могло бы быть иначе, потому что человеческое, историческое, как издавна считается, это область не-необходимого, иначе возможного. Это значит, что здесь нет ничего субстанциального, необходимого. А раз так, то и отрицание события — это отрицание иначе-возможного, всякое возникновение, существование и прекращение могли бы и не быть⁹. Простой пример поможет это иллюстрировать. Скажем, вы совершаете платеж — это элементарное событие коммуникации в системе экономики. Платеж отклонен, но это не значит, что следующий платеж не пройдет или что этот, непрошедший, так сказать, погибает. Отрицание сохраняет возможность другой операции, это встроено в сам ее смысл.

Однако Луман в общем плохо справлялся с тем, что — я здесь позволю себе использовать собственную терминологию — можно было бы назвать абсолютными событиями. Абсолютные события, например рождение и смерть, означают старт или прекращение цепочки операций, то есть открыты для примыкания других событий, так сказать, только с одного конца. Очень давно я задал Луману вопрос, как можно считать «сохраняемой» возможность быть по-другому, если речь пойдет об убийстве человека. Он ответил, что нет разницы, убить ли человека или съесть яблоко. При всем цинизме этого ответа он точен. В области смысла убить или не убить, съесть или не съесть равно контингентные события. Нам, пожалуй, мешает здесь лишь то, что мы не готовы уподобить убийство или поедание неудачному платежу.

Между тем если вернуться к терминологии аналитической философии, несостоявшийся, а равно и состоявшийся платеж — это однократные, эфемерные события¹⁰. Если мы пропишем, как когда-то Дэвидсон, все обстоятельства платежа (совершенного таким-то человеком, в таком-то банке, такого-то числа и с такой-то целью), то и он окажется уникальным событием. Таков действительный платеж! Нам трудно увидеть здесь что-то большее, чем методологическую последовательность, мы это большее видим только в случае таких необратимых событий, как смерть и рождение. Смерть и отклоненный платеж — не одно и то же, потому что платеж можно повторить, смерть прекращает уникальную жизнь, а рождение ее начинает. — Но только в действительности! В тексте,

8 В полемике с Ю. Хабермасом. Несмотря на то что она состоялась полвека назад, многие ее аспекты все еще актуальны. См.: *Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie — was leistet die Systemforschung?* Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1971.

9 До сих пор лучшее изложение у самого Лумана в кн.: *Luhmann N. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie.* Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984.

10 См. полемике Дэвидсона с Р. Чизолмом: *Davidson D. Eternal vs Ephemeral Events // NOÛS.* 1971. Vol. 5. № 4. P. 335—349.

в смысловых комплексах возможно все, вплоть до отмены смерти, если так захочет автор. Шерлок Холмс и Джон Сноу возвращаются.

С этим может быть связано желание пробиться к действительности через текст — но тут мы обнаруживаем под видом действительности новый текст. Умерший царь возвращается под другим именем, канонические версии истории переписываются; наконец, по мере развития коммуникаций реальность несомненного оспаривается и высмеивается. В этой связи само предложение рассматривать осмысленное действие как текст и сделать акцент на какой бы то ни было герменевтике текста вызывает, пожалуй, особого рода возражение. Я напому о первых шагах к тексту, которые делает Рикер, обосновывая свой проект. Он говорит об остенсивных референциях, которые преодолеваются в дискурсе и далее в смысловых образованиях. Эти последние предполагают целый мир неостенсивных референций. Вот там действительно возможна герменевтика осмысленного действия как текста. Это значит, что каждое высказывание, дискурс, отсылает либо к такому предмету или событию, на которые можно прямо показать, либо же, наоборот, эта определенность преодолевается, отсылка идет именно к большому миру смысла. Решительная альтернатива этому — то, что Х.-У. Гумбрехт называет «присутствием в настоящем», понимая это, как он сам пишет, пространственным, а не темпоральным образом¹¹.

Проблема, которую я вижу сейчас, состоит в том, что при попытке осмыслить происходящее социальная наука буквально, как когда-то говорил Теодор Лессинг, придает смысл бессмысленному, вписывая события в рассказ, который предполагает множество событий с тем же смыслом. Множеству событий действия, которые могли быть — по смыслу — совершены кем угодно и где угодно и сейчас интересны лишь как пример того, что известно, потому что этот смысл не сегодня возник, противостоит этика прямого морального вменения. Иначе говоря, анонимное — для социальных наук — событие переписывается для вменения как процесс и результат морального выбора того, кто лично действует здесь и сейчас. Это в принципе правильно (и можно было бы сказать с известной осторожностью: это не в духе Лумана, но в духе Рикера), но это означает, на мой взгляд, слишком быстрый отход из области остенсивных референций, прямого указания на не поддающееся отмене уникальное событие, прежде всего здесь и сейчас, именно событие смерти, прекращение присутствия в результате действия. В области действия мы нуждаемся в связке между очевидностью базисного действия и очевидностью «кто» как начала. В начале есть действующий с его ответственностью, то есть тот, кто сразу видит результат, для кого, в сущности, нет разницы между действием и тем, что вызвано этим действием. Восстановление в правах действительности, не растворяемой в текстах и смыслах, нуждается — и еще долго будет нуждаться — в восстановлении в правах самых коротких каузальных цепочек, прямых обо-зримых связей — именно тогда, когда этот результат, грубо говоря, нельзя не только отменить, но и заболтать.

11 Разумеется, «негерменевтика» и «производство присутствия» никоим образом не элиминируют измерение интерпретации и производства смысла) (*Gumbrecht H.U. Production of presence: What meaning cannot convey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. P. 18*). Отношение Гумбрехта к Луману заслуживает отдельного исследования.

Сергей Зенкин: Спасибо, Александр Фридрихович. Образовалась мощная философская рамка для нашей дискуссии: фактически вместо критического разговора о филологии началась философская самокритика самих социальных наук, которые, как вы показали, готовы впасть в некую доморощенную филологию, сводя свой предмет к чему-то вроде текстов, к тому же текстов повторяющихся, чуть ли не бросовых.

Сейчас мы не будем открывать дискуссию по каждому выступлению, пока соберем все идеи вместе, и тогда желающие будут задавать вопросы и возражения.

Пожалуйста, Олег Хархордин.

Олег Хархордин: Спасибо. Я думал, что сначала было бы хорошо филологов послушать.

Сергей Зенкин: Филологов здесь нет. Только я, и то я стараюсь сидеть в своем углу.

Олег Хархордин: Я долго думал, есть ли мне что сказать на эту тему, и понял, что, наверное, то, что я хотел сказать, я сказал в 87-м номере НЛО за 2007 год, в статье про отличие гомилетики от герменевтики¹². Для тех, кто не слышал термин «гомилетика», поясню, что это такая же дисциплина, как герменевтика, которая преподавалась в духовных семинариях и академиях, это стандартный курс. Если герменевтика — это дисциплина, которая преподавалась будущим священнослужителям, это искусство интерпретации библейского текста, то гомилетика — это искусство написания проповеди. Она выросла из классической риторики, но имеет некоторые особенности. И мне кажется, что гомилетическая традиция свойственна российскому типу гуманитарного знания и акцентирована в XX веке. Исследования семиотики московско-гартуской школы и в последнее время интерес к исторической семантике, которая обычно обозначается как история понятий (это школа Райнхарта Козеллека и школа Квентина Скиннера, то есть кембриджская школа истории понятий), как-то затемнили ту российскую традицию, которая связана с этим гомилетическим типом производства знания. Попытаюсь напомнить некоторые особенности этой традиции, которая кажется мне важной, во-первых, потому, что мы не обязаны копировать герменевтические методы, не обязаны размышлять о Рикере, не обязаны думать только о том, что надо интерпретировать социальное действие как текст, а наоборот, мы можем подойти гомилетически, несколько с другой стороны. Во-первых, это давняя традиция, российский XIX век после возрождения практики чтения святых отцов экспериментировал с этим; это воплотилось, например, в прозе Достоевского, а Достоевский — это наше все. Во-вторых, как это ни прискорбно, гомилетические методы объясняют эффективность советской пропаганды от Володарского до Ленина и даже Сталина; все они пользовались гомилетическими методами при структурировании своей речи. Мне хотелось бы, конечно, сказать, что Достоевский кажется нам теперь более гуманным примером, ведь, опираясь на него, наверное, мож-

12 Хархордин О. Секуляризованная гомилетика: демонстрация метода? // Новое литературное обозрение. 2007. № 5 (<https://magazines.gorky.media/nlo/2007/5/sekulyarizovannaya-gomiletika-demonstraciya-metoda.html> (дата обращения: 29.09.2022)).

но достичь большего, чем опираясь на тот извод гомилетики, которым занимались большевистские пропагандисты. Но сейчас, возможно, этот тип знания тоже уместен — в ситуации, с отсылки к которой начал свое выступление Александр Фридрихович, когда нас спрашивают как профессионалов, что можем делать сейчас мы, то есть те, кто не занимается дисциплиной *international relations* (теорией международных отношений). По крайней мере, в нашей области исследований, в политической теории, политической социологии или политической философии, трудно преподавать греков и римлян или Ханну Арендт про внутривнутриполитические проблемы, понимая, что тебе почти что ничего сказать про межстрановые конфликты.

Мне кажется, что наша профессиональная позиция должна сейчас заключаться не только в том, *что* сказать о происходящем, но и *как* сказать. Это нам по силам. Потому что контраст герменевтики и гомилетики, если его взять и риторически заострить, состоит в том, что герменевтика — это отношение к актам как текстам, а гомилетика — это отношение к текстам как актам. Гомилетика — это попытка исследования перформативного эффекта текста или попытка произведения такого текста, который имеет не чисто информативный характер, то есть который не пытается просто сообщить некоторую информацию, который слушатель получит, положит в карман, уйдет и будет знать нечто. Дело в том, что гомилетические тексты имели тройную структуру: они должны были не только просветить ум, но и направить и убедить волю, а также впечатлить чувства. Текст должен иметь такую тройную цель, как писалось во всех учебниках гомилетики (можете посмотреть, например, учебник гомилетики, первый российский учебник, написанный в Киеве в 1848 году профессором Амфитеатовым и выдержавший четырнадцать изданий до начала XX века).

Когда мы сейчас думаем о судьбе гуманитарной традиции в современной России, мы должны не забывать об этих перформативных функциях текстовых произведений, которые мы пишем, исходя из злободневности второй и третьей функций текста. Он должен быть не чисто информативным, а должен направлять и убеждать волю, впечатлять или внушать чувства. Отчасти это также связано с тем, что не из-за злободневности, а из-за особенностей российской национальной традиции на этом можно выстроить некоторую отдельную программу в рамках гуманитарных наук. Она будет отличаться, например, от немецкой не тем, что мы анализируем другие тексты, которые немец не может прочесть, потому что он не знает русского (поэтому он будет заниматься Рильке, а мы будем заниматься Пушкиным или Баратынским, но теми же самыми методами). Мы могли бы отличаться методом, подходом к тексту и действительности — не герменевтическим, а гомилетическим, который рассматривает эффекты текстов как действий, как трансформирующих реальностей, и пытается структурировать свои собственные тексты так, чтобы они несли в себе все гомилетические эффекты.

Здесь мне видятся две задачи: во-первых, авторизовать и отчасти секуляризовать саму традицию. К примеру, когда Дильтей пытался описать различие наук о духе и наук о природе, то он опирался на нормальную церковную герменевтику Шлейермахера, но секуляризовал ее и сделал методом, который потом назвали понимающей социологией, то есть когда можно любой вид действия интерпретировать как текст. Так же мы можем секуляризовать то, что долго делали в российской религиозной традиции XVII—XIX веков и что по-

том большевики использовали для своих политических целей. Однако гомилетический метод имеет и очень позитивные примеры, когда он не относится ни к чисто церковной сфере, ни к чисто политическому использованию гомилетики большевиками. Например, как я уже сказал, Достоевский, но это не единственный сюжет.

Чтобы дать вам пример такого текста, позволю себе остановиться на том, на что опирался Достоевский. В его архиве осталась двадцать одна брошюрка под названием «Внимай себе»: это такая брошюрка-четвертинка на пятнадцать страниц, напечатанная крупным шрифтом, которую мог купить читающий рабочий или крестьянин. Эта брошюрка была написана Тихоном Задонским и взята из его громадного собрания сочинений. Как мы знаем, Тихон Задонский был одним из прообразов старца Зосимы. Зачем Достоевскому надо было покупать все двадцать одно издание этой брошюрки, мне не очень понятно, потому что текст там один и тот же. По-видимому, ему нравилось также посмотреть, как графически эта брошюра могла воздействовать на читателя, поэтому он собрал все издания. Напомню, что Тихон Задонский — один из четырех святых, которые были канонизированы русской церковью в XIX веке, когда не было массовой канонизации. В XIX веке только немногие могли позвонить Богу, когда хотели, — как это делал, например, Серафим Саровский в описании Мотовилова. Так вот, Тихон Задонский — один из примеров этой религиозной искусности, если не сказать искусства. К тому же он был одним из тех, чьи тексты были написаны очень простым языком, понятны очень многим, а потому использовались, как говорили большевики, для церковной пропаганды среди грамотных крестьян и рабочих.

Текст брошюры «Внимай себе» организован достаточно интересным образом. Тихон Задонский обращается к читателю: ты спрашиваешь, что такое «внимай себе» (это библейский призыв или, возможно, даже призыв из греческой классической философии). Но вместо того, чтобы отвечать, Задонский дает пятнадцать страниц дополнительных вопросов. Он говорит: послушай, ну вот ты называешься добрым христианином, но не оскверняешь ли ты свои руки воровством и святотатством? Внимай себе. Ты говоришь, что живешь по Божьим законам, но не думал ли ты о прелюбодеянии, не думал ли ты о том, чтобы украсть собственность брата своего? Внимай себе. И далее пятнадцать страниц такого текста, где рефреном идет «внимай себе»; задаются вопросы, и предполагается, что читатель, если он читает и пытается ответить на каждый вопрос, должен заглянуть в себя по окончании каждого этого предложения, то есть заняться интроспекцией отчасти или рассмотреть, просветить свои дела, если он анализирует не движения души, а дела, совершенные им за последний год или за всю свою жизнь. Кончается брошюра следующим образом: ты спрашивал меня, что такое «внимай себе», но вот ты только что сейчас это сделал. Не дается ответа о том, что значит «внимать себе» как практика, то есть, как сказал бы последователь Джона Остина, значение передается здесь в виде перформативного эффекта, а не в виде констативного значения. Текст ни разу не отвечает на вопрос, что такое «внимать себе»; он не дает информации, но структурирует позицию читателя так, чтобы, дойдя до конца текста, человек телесно знал, что это такое, за счет того, что он попробовал это делать, отвечая на вопросы, заданные в тексте, и подчиняясь перформативному эффекту тех высказываний, которые на него обрушиваются или которые ему предлагаются. В результате этого гомилетического сюжета мы получаем три-

аду, с которой я начинал: текст должен просветить ум, направить или убедить волю, впечатлить чувства. Он должен быть направлен на всю трехчастную структуру души по Платону: не только на ум, но также и на волю и на эстетику чувства. И это «движущий» текст, по сравнению с текстом, который имеет чисто информативное содержание или, как сказали бы последователи Джона Остина, имеет только констативное значение.

Естественно, в учебниках по гомилетике есть особые приемы, как структурировать проповеди, чтобы вызывать Божественное озарение; каким языком писать, чтобы простой народ тебя понимал, и какие критерии рецепции аудитории, как мы теперь сказали бы, являются доказательством того, что ты написал искусный текст, который не заставляет читателя ходить по герменевтическому кругу, как искусно написанный текст Гадамера, а который его заставляет трансформировать собственную жизнь за счет телесного восприятия эффектов текста. Можно назвать это гомилетическим кругом, или гомилетическим эффектом. Например, знаменитая речь Достоевского на юбилее Пушкина¹³, когда все закончилось восклицаниями аудитории: «Вы нас разгадали, вы наш пророк!» — и истовым возвеличением Достоевского как человека, который объяснил слушателям, что они из себя представляют как русские. Эта знаменитая речь структурирована примерно следующим образом: секрет первой части, а именно просвещение ума, во многом сводится к тому, чтобы дать человеку озарение — не знания на уровне инструментального знания, которые можно использовать потом в жизни, заколачивая гвозди, а возможность, как говорят феноменологи, посмотреть на ситуацию другими глазами, *to see it in a different light or with different eyes*. И для этого надо угадать аудиторию для нее самой. В этой речи Достоевский говорит о том, что такое русский. Известна обычная интерпретация этого, противостояние между западниками и славянофилами: мы или принадлежим Европе, или нет. Ответ Достоевского марксисты называли бы диалектическим, но можно назвать его гомилетическим: быть русским — это значит довести в своей душе противоречия европейские до предела и примирить их окончательно. То есть стать русским — это переевропеить европейцев до предела. Чтобы доказать этот тезис, он берет известную всем историю любви Татьяны к Онегину и превращает это в великое торжество российского характера, когда Татьяна становится героиней этого сюжета, а Онегин — малопонятным повесой, с которым расправляется величие русского духа. Достоевский говорит: вы сами в себе это несете и собою это представляете, вы, сидящие передо мной, потому что в этом ваша миссия.

Нам это может показаться странным, но просвещение ума, первая функция гомилетического текста, во многом связана с тем, что человек выходит после чтения текста с трансформированным пониманием того, кто он или она есть, которого он или она не имели до того, как прочитали текст. Это понимание, возможно, дискурсивно не схвачено; многие из тех, кто слушал тогда Достоевского, вышли из зала с ощущением, что было что-то очень крутое, но что, описать невозможно — всех унесло. Это, кстати, третья функция гомилетического текста — внушить чувства или впечатлить чувство красотой, то есть тут одним из критериев является самозабвение слушателей в процессе восприятия; как

13 *Достоевский Ф.М.* Пушкин. (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей русской словесности // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 136—149.

теперь говорит молодежь, это был улетный момент — в том отношении, что все улетели. Как Биbihин для нас расшифровывал термин «восхищение», которым описывается состояние человека при его или ее полной включенности в ход гениальной театральной пьесы или фильма: это значит «возвышенное хищение», когда тебя у тебя самого украли, ты настолько поглощен тем, что происходит, тебя в этот момент нет. Когда ты смотришь суперфильм, или сидишь на суперпьесе, или стоишь на проповеди, которая действительно движет твою душу, тебя в этот момент нет, ты полностью где-то в другом месте; восхитительное существование, когда тебя у себя украли, ты улетел.

И еще один момент насчет убеждения воли: очень часто эту функцию текста, естественно, можно увидеть описанной в учебниках, например по которым преподавали на том факультете, где я учился в советское время. Это был экономический факультет ЛГУ, и называлось это «Методика преподавания политэкономии», что очень смешно, потому что нас в общем-то образовывали не как ученых-экономистов, а как священников, которые должны были знать три тома священной книги «Капитал» наизусть, вплоть до того, что мы могли цитировать отдельные параграфы, например второго тома про отличие основного от оборотного капитала. Предполагалось, что, если нас разбудить ночью, мы бы все равно сразу спросонья сказали, чем отличается одно от другого, и указали точный номер страницы, где это говорится в «Капитале». В этом курсе под названием «Методика преподавания политэкономии» честно объяснялось, что убежденность лектора гораздо важнее, чем то, что он несет. Достоевский знал это на самом деле не хуже, чем другие, ну а среди большевиков Сталин как недоучившийся семинарист тоже про это слышал.

Не говорю, что это можно или надо возродить; естественно, при секуляризации традиции надо отказаться от одиозных элементов, рафинировать ее и трансформировать примерно так, как поступили те, кто сделал герменевтику распространенной общественно-научной методической процедурой, свойственной Западной Европе и Северной Америке. С гомилетикой, как мне кажется, можно было бы поступить так же. И здесь есть некоторый потенциал другого соотношения филологии и наук о действии. Это тоже попытка выйти на связь наук о слове и наук о действии, попытка выйти на то, что давно известно как лингвистическая философия в англо-американском мире, но там это все разрабатывалось с помощью Витгенштейна, Остина, Гилберта Райла, Уилфрида Селларса и их последователей, которые доминируют на всех философских факультетах англо-американских университетов. У нас же отношение к слову как к акту имеет свою собственную традицию, но она не дистиллирована и не очищена. Как мне кажется, внимание московско-тартуской школы к структурам и к структурализму немного задвинуло этот аспект на задний план, хотя большие книги, например та же диссертация Бахтина о Рабле, имеют сильный гомилетический элемент. Человек заканчивает чтение этой книги, поменявшись; ему его разгадывают за то время, пока он читает, он видит себя в этом зеркале, очень часто он знает, что прочел великий текст, но не знает почему, хотя знает, что было что-то крутое. Примерно так же, как молодежь знает: если вечеринка удалась вчера, то утром просыпаешься и понимаешь, что что-то не так, вчера было событие, хотя рассказать об этом внятно часто и не можешь. В книге Бахтина есть не только элемент информирования о том, как Рабле описал разъятое тело, что там было с карнавалом, и так далее и тому подобное. Там есть все те элементы, про которые я говорил.

Сегодня из всего творчества Ханны Арендт мы вновь и вновь перечитываем ее эссе 1964 года про ответственность при диктатуре, когда она отвечала критикам своей книги «Эйхман в Иерусалиме». Что делать в этой ситуации, о чем говорил сегодня Александр Фридрихович, — каждый отдельный человек, у которого есть гражданское сознание, сам решит для себя, но что делать нам как профессионалам, которые пишут тексты, которые должны быть действенными (если брать различие, которое подчеркнул Александр Фридрихович), а не только правильными? Я бы сказал, что нужно подчеркнуть и то, что еще и из-за этой ситуации гомилетическая традиция требует актуализации. Спасибо.

Сергей Зенкин: Спасибо, Олег Валерьевич. Действительно, наука, научное слово должно не только говорить о действии, но и само являться действием. Эта важная перспектива, которую надо иметь в виду в разговорах о любых науках, особенно, конечно, о гуманитарных. Я только сделаю одну оговорку, которая в этой связи возникает. Дело в том, что именно в последнее, постсоветское тридцатилетие гомилетические дискурсы в нашей стране получили широчайшее и во многом, я бы сказал, злокачественное, опошленное развитие — во-первых, в пропаганде (в Советском Союзе она тоже была, но единообразная, а с тех пор диверсифицировалась, и каждый может найти себе пропаганду по вкусу и питаться ею до скончания века), во-вторых, в рекламных дискурсах и, в-третьих, в дискурсах коучинга, психологического сопровождения, консультирования. Для науки сейчас встала задача отмежеваться от этих ненаучных гомилетических практик.

Я передаю слово Михаилу Маяцкому.

Михаил Маяцкий: Я, как и все говорящие, не могу абстрагироваться от происходящего и с немалым трудом вспомнил, о чем я хотел говорить, когда организаторы сделали мне предложение участвовать в чтениях. Я хотел говорить о лингвистическом повороте в философии, который нас, философов, связал с филологами едиными узами в некий неравный брак, и этот брак определил истекший век. Я хотел обсудить принципы, ресурсы, границы этой связи, но карта легла иначе — случилась цезура 24 февраля с последующей катастрофой, которые обща нам всем, но у всех разные регистры, характер, оттенки, и они часто совершенно не сравнимы, и упоминание одних бед звучит почти оскорбительно в контексте других. Я сам нахожусь в ситуации абсолютного комфорта по сравнению с другими, но у людей вокруг меня тоже возникают острые переживания по этому поводу, даже у простых швейцарцев, которые, казалось бы, ни сном ни духом, а вот они впервые за больше чем два века должны отказать от своего нейтралитета, и это как-то пошатнуло их идентитарные основы. Естественно, встает вопрос об ответственности и вине, который заслуживает более подробного рассмотрения, и я не буду здесь его касаться, хотя в какой-то степени это оказывается неизбежно. Недавно в своем посте филолог и политический мыслитель Денис Драгунский в свойственном ему афористическом ключе сформулировал три вреда русской литературы. Первый вред отмечал еще Розанов: русская литература целый век высмеивала, унижала тех людей, которые составляют опору нормального общества. Второй вред заметил Тургенев, говоря об обратных общих местах у Достоевского: вор непременно честный, убийца — ходячая совесть, пьяница и распутник — философ (конечно, бывает и наоборот: философ — пьяница и распутник), проститутка —

великая душа, идиот умнее всех. Но для нас из литературоцентричной русской философии важен третий вред имени Тютчева: по словам Драгунского, это постоянное упорное убеждение всех и уговаривание самих себя, что мы особенные, что нам не писан никакой закон, ни европейский, ни славянский, ни христианский, ни, боже упаси, общий для всех людей — типа международного права. Почему? А потому, что мы такие уникальные, отдельные, ни на кого на свете не похожие. Русская литература долго лелеяла этот застарелый подростковый комплекс, и философия от нее не отставала. Можно назвать этот вред *дефицитарной парадигмой*, и сегодня она стала ясна как никогда, потому что этот месяц принес новую ясность, новую очевидность, спали ветхие лохмотья с русской особенности, с русского пути. «Пути России» — очень интересный семинар и многотомный альманах, которые вы прекрасно знаете, в которых некоторые из вас участвовали, в которых даже либеральные интеллектуалы были втянуты в обсуждение экономической и политической проблематики, отечественной и международной, именно с точки зрения уникальности. Не той тривиальной уникальности, которой уникальны любая страна и любой человек, а нашей особой, уникальной уникальности: мы не просто особенные — мы хуже и поэтому лучше. В силу этого «лучше» можно вспомнить диалектику стигмы Ирвинга Гофмана, где стигма, социальный изъян может стать новой привилегией. Это начинается с Чаадаева, с его первого «Философического письма» (это самый конец 20-х годов XIX века), которое фактически единодушно считается и первым текстом собственно русской философии, хотя и написано по-французски. Это письмо пронизано тем самым мотивом: мы ущербны, у нас нет истории, традиции, законов, мыслителей, идей, и поэтому мы привилегированные (эта каузальность «и *поэтому* привилегированные» была добавлена уже после Чаадаева). В этой дефицитарной парадигме развивается русская философия, что пародийно сформулировал поэт Игорь Иргеньев: они (имеются в виду американцы, но и все прочие) другие, так вот: «Они устроены иначе / В связи с отсутствием корней, / Пусть в чем-то нас они богаче, / Но в чем-то главном мы бедней».

Симптоматический пример этого феномена — оппозиция права и морали. Я здесь обращаюсь к одному перестроечному тексту. Собственно, Ирина Прохорова начала именно с этого: не только юбилей НЛЮ, но и происходящие события принудительно и жестко отсылают нас к событиям девяностых или семидесятых годов; не только экономически, но и в плане интеллектуальной повестки мы вынуждены будем пересматривать уроки перестройки или ранних девяностых. Упомянутый мной текст написан еще в советское время, в конце восьмидесятых годов. Это великий текст ныне здравствующего и бодрого Эриха Соловьева, которому все мы можем пожелать долгих лет жизни и творчества, под названием «Дефицит правопонимания в русской моральной философии»¹⁴. Цитирую: этот дефицит «в сфере самих моральных отношений выражал себя прежде всего как отсутствие уважения к индивидуальной нравственной самостоятельности (автономии) и как упорное сопротивление идее примата справедливости над состраданием. Высокая нравственная притяза-

14 Соловьев Э.Ю. Дефицит правопонимания в русской моральной философии // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 230—234 (https://scepsis.net/library/id_2659.html (дата обращения: 30.09.2022)).

тельность слишком часто перерастала у нас в моралистическую нетерпимость. Ее постоянными спутниками были бестактное добродотство, общинное инквизиторство и стремление к принудительному осчастливлению людей по расхожей уравнительной мерке. В периоды социокультурных кризисов дефицит правосознания губил, случалось, самое нравственность как нравственность. Дефициту правосознания в национальном сознании соответствовал *дефицит правопонимания* в отечественной философии, тесно связанный с ее этикоцентризмом и проповедью *абсолютного нравственного подхода к жизни*¹⁵. Далее Соловьев приводит в свою очередь цитаты Толстого и другого Соловьева, Владимира: «Возведение беды в добродетель — настоящее проклятие философствующего русского ума. И не приходится удивляться, что Л.Н. Толстой ставит в заслугу своим соотечественникам буквально следующее: “Русский народ всегда относился к власти иначе, чем европейские народы. Он никогда не боролся с властью и, главное, никогда не участвовал в ней. Русский народ всегда смотрел на власть как на зло, от которого человек должен устраниваться. Легенда о призвании варягов вполне выражает отношение русских людей к власти. Русский народ в своем большинстве подчиняется власти потому, что всегда предпочитал подчинение насилию борьбе с ним или участию в нем”. В.С. Соловьев в “Трех силах” рассуждает еще удивительнее, еще дерзостнее: “Высший образ раба, в котором находится русский народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего”¹⁶. Такова паралогика, комментирует уже Эрих Соловьев, «абсолютного нравственного подхода к жизни — паралогика, которую необходимо и изжить. Нынешнее обостренное внимание к отечественному философскому наследию — это, конечно же, не просто мемориальный интерес. Мы стремимся к возрождению прошлого, которое бы обновило и обогатило наш собственный способ мысли»¹⁷. Далее он перечисляет важные имена русских философов и заключает: «Вместе с тем я отваживаюсь утверждать, что русская философия — сомнительный и ненадежный союзник в нашей сегодняшней борьбе за право и правовую культуру»¹⁸. На этом примере видно, как из ущербности выводится добродетель. Первый тезис: на Западе развито право, у нас — нет. В отсутствие права у нас как-то все регулируется — обычным правом, обычаями, нравами, а раз нравами, значит, нравственностью; а раз так, то второй тезис, нравственность у нас высоко развита, следовательно, вывод, на Западе она недоразвита, Запад аморален. Не очень замысловатый силлогизм.

Если возвращаться к перестроечной повестке, то, когда рухнула советская коммунистическая идеология, возникли разные сценарии философского развития: что будет дальше, куда дальше пойдет философия. Было много конференций и круглых столов на эту тему, и некоторые участники еще хорошо их помнят. Ни один из сценариев не состоялся в том виде, в котором предлагался, но они дополнили друг друга в качестве тенденций философского развития.

15 Соловьев Э.Ю. Выступление на круглом столе «Проблемы изучения русской философии и культуры» // Вопросы философии. 1988. № 9. С. 137.

16 Там же. С. 140.

17 Там же.

18 Там же.

Первый сценарий состоял в том, чтобы абстрагироваться от этих ошибочных семидесяти годов, вернуться к точке условного 1913—1917-го года и продолжать философию, как если бы этой последующей ошибки не было. Второй сценарий — мыслить Россию под разными соусами: историсофски, политико-идеологически, геополитически, но все с тем же ресентиментным знаменателем — что нам или, как вариант, нашему суверену закон не писан и не должен быть писан. Третий сценарий — возвращение к подлинному Марксу: да, советская философия была тупиком, но она была тупиком, потому что изменила подлинному Марксу, к которому нужно теперь вернуться (сразу после-сталинскому или до-сталинскому). Эта тенденция была свернута быстрее всего или представлена наименьшим количеством людей и усилий. Четвертый сценарий — развивать неофициальную философию советского времени, имеется в виду не марксистскую или ту, которая прикрывалась лишь для вида этой этикеткой. Еще один сценарий состоял в том, чтобы тоже забыть по-своему об этих семидесяти годах и примкнуть к нормальной мировой философии, понятное дело, попытавшись ее догнать, потому что она в течение семидесяти лет не стояла на месте. Часто предлагалось и практиковалось заниматься просто историей философии, отбросить философию в традиционном школярском смысле, отбросить пока систематическую философию ради истории философии, учитывая огромное опоздание и огромный пробел. Коротко упомяну, что мне пришлось в ходе подготовки к изданию и редактированию «Черных тетрадей» Хайдеггера окунуться в отечественное хайдеггероведение, в котором есть, разумеется, прекрасные исследователи, но даже здесь есть тенденция утверждать (как раз особенно по поводу «Черных тетрадей» и дискуссий, развернувшихся на Западе), что западное хайдеггероведение потерпело фиаско, показало свою несостоятельность, зато наше может указать подлинный смысл и понять Хайдеггера лучше, чем западное все вместе взятое. И там не нужно долго скрести, чтобы добраться до могучей фигуры Александра Дугина. В наибольшей степени реализовался второй сценарий — мыслить Россию (не то чтобы он был единственным, который реализовался, но он официализировался). Особенно здесь показателен случай недавней попытки холд-апа Института философии Российской академии наук. Институт вообще-то был абсолютно лояльным, там работают сотни самых разных исследователей, но официально на своем сайте, в куче своих публикаций он был демонстративно лоялен и надеялся этой лояльностью выкупить себе относительную свободу исследований и творчества. Его сайт всегда пестрил формулами типа «российская цивилизационная парадигма», то есть, читай, все та же особость. Но это не помешало попытке грубого *гляйхшальтунга*, которому Институт был подвергнут совсем-совсем недавно, за пару месяцев до СВО. И остальные тенденции стали, как сейчас выяснилось в ходе обретения новой ясности, некоей витриной, декором, экраном; более-менее ясно оказалось, что все мы, живущие в России, связанные с Россией, пишущие, думающие на русском языке интеллектуалы, художники, спортсмены и артисты, мы оказались привилегированными узниками Терезиенштадта, такого «витринного» лагеря, которые своим бурным творчеством должны наглядно показывать, что режим не такой уж и уродский. Или другая метафора, еще более прямая: мы — часть отвлекающего маневра в конфликте с соседом или с миром, на который обиделся наш суверен.

Что может понадобиться завтра? Завтра нам понадобится наш Клемперер, чтобы анализировать отечественный аналог языка Третьего рейха, и кажется,

один филолог плотно этим занимается, наш всеобщий друг Гасан Гусейнов. Нам понадобится наш Адорно, чтобы увидеть и развенчать *жаргон подлинности*, или, скорее, в нашем случае жаргон личности, и наш Ясперс, чтобы помочь разобраться с нашей виной и ответственностью. Спасибо за внимание.

Сергей Зенкин: Спасибо, Михаил Александрович: печальные и нелицеприятные итоги идейного развития. Я бы хотел отметить, что в числе востребованных сегодня дискурсов — филологический дискурс Виктора Клемперера, рассматривающий именно словесную, дискурсивную сторону ситуации, в которой мы оказались. Это особенно важно для нашей дискуссии.

Я передаю слово Павлу Арсеньеву.

Павел Арсеньев: Здравствуйте, коллеги. Я рад участвовать в этой, по-видимому претендующей на характер исторической, экскурсии. Некоторые аналогии уже были проведены, упомянуты события тридцатилетней давности, учредительные для журнала «НЛО» и «Банных чтений», и в то же время коллеги уже высказали соображения методологического характера. Я готовился к довольно невеселым рассуждениям, сосредоточенным вокруг сюжета военных действий; этого тематического натяжения сейчас сложно избежать. Я постараюсь выполнить то обещание, которое дал, и поговорить о медиологии, однако на каком-то фразеологическом уровне речь все равно будет тяготеть к неизбежным нынче милитантным метафорам. В последнее время у меня крутится в уме формула «эпистемический передел»: раз уж мы говорим о чрезвычайных событиях, попробуем извлечь какие-то эпистемические выводы, если не выгоды; сделать выводы из признания морального поражения, а то и эпистемологического поражения отечественной культуры в том случае, если уж она действительно является отвлекающим маневром, как это Михаил диагностировал, ширмой или чем-то подобным из терминологического арсенала критики идеологии. Я хотел бы избежать широкополосных генерализаций и каких-то решительных призывов, касающихся этого гипотетического эпистемического передела. Скорее в моем выступлении речь будет идти о скромных подсчетах и установлении связей между некоторыми фактами. В заключение я бы взялся продемонстрировать работу медиологического метода на материале истории русской литературы XIX века, но в некоторой, может быть, неожиданной комплектации — с наукой и техникой этого же периода.

Сергей Николаевич попросил меня представлять за медиологию; я действительно последние годы сильно ассоциировал себя с этой дисциплиной — или, может быть, лучше сказать тенденцией, — поэтому сначала скажу о ней несколько вступительных слов. Сразу предупрежу, что свой собственный метод я назвал бы смежной историей литературы и науки, куда медиология привходит наряду с другими дисциплинами или техниками описания. Но сначала немного о медиологии — причем именно в ее французской огласовке, ведь она возникла в растворе аналогичных медиааналитических тенденций или даже «ересей» (если уж «Нового времени не было»), в частности она должна опознаваться по контрасту с немецкой медиаархеологией.

Медиология в версии Режиса Дебре представляет собой очень интересное теоретическое предложение, которое имеет самое что ни на есть милитантное происхождение. Если немцы-медиаархеологи любят анализировать в том числе военные генеалогии техники и науки, прежде всего в своей собственной

национальной традиции, то французская дисциплина в лице ее основателя и главного идеолога происходит из гражданской войны внутри французского интеллектуального поля или на его границах. Режис Дебре долгое время был прежде всего активистом, причем не таким, как часто принято это понимать, — не активистом университетских аудиторий или прилегающих к кампусу территорий, но активистом международного пошиба, ни много ни мало правой или левой рукой Че Гевары. На русском существует только одно его издание — перевод книги «Введение в медиологию», выпущенный издательством «Праксис». Это, конечно, непропорционально мало относительно написанного им. А публичное представление о нем, когда он приезжал в Петербург, и вовсе исчерпывалось легендой (из-за чего о медиологии не говорилось даже на авторской встрече с основателем дисциплины).

В чем специфика этого метода? Метод медиологии в значительной степени обязан собственной политической и институциональной судьбе Реже Дебре, поскольку его ранний интерес к разным дисциплинам, к прагматике коммуникации, например к внутренней социологии французского интеллектуального поля, был связан с политическим активизмом и, что, может быть, еще важнее, организационным опытом. То есть опытом не только более или менее действенных речей — упражнений в этих речах, — но и попыткой создания или участия в некоторой организации, то есть опытом перехода от упоения перформативностью речи (в которой он очень быстро разочаруется и сделает интересные выводы) к исследованию тех материальных и организационных условий, в которых она может (или не может) стать успешной. Я, видимо, оказываюсь в некотором вынужденном полемическом отношении с выступлением Олега о гомилетике, поскольку вслед за Дебре полагаю, что не всегда старые благородные дисциплины, в частности богословие или выработанная им риторика, позволяют описать феномен коммуникаций в ситуации новых медиа. Вероятно, что сегодня слово делают действенным совершенно другие материальные и институциональные условия, нежели даже во времена большевистской пропаганды, о которых шла речь, не говоря уж о временах Тихона Задонского. Именно так Режис Дебре тематизирует политические разочарования в семидесятых годах прошлого столетия, которые ему пришлось пережить как политическому активисту и одновременно сделать медиа- и технические выводы из этих разочарований в действенном слове.

Враждебность к университетскому марксизму и структурализму тоже немаловажная черта в профиле медиолога. Несмотря на то что Дебре был выпускником Эколь нормаль супериор и учеником Луи Альтюссера, он получает свою докторскую степень только в пятьдесят три года, то есть уже после довольно длительного и вполне трагического активистского опыта (ему пришлось провести несколько лет в латиноамериканской тюрьме, быть оттуда вызволенным благодаря кампании, очень напоминающей нынешние кампании поддержки, то есть с очень большим трудом, а потом — стать дипломатом во французском правительстве). Итак, он «выходит на защиту» только в девяностые со своим тезисом, с теоретической программой, которая была выстрадана некоторым организационным опытом. Его тезис о том, что одного излучения (*émission*) действенности речей недостаточно, был основан на его собственным опыте коммуникативных неудач и организационных коллапсов. Нечто похожее мы или некоторые из нас, кто участвовал в политическом активизме, имели возможность пережить в ходе или после «болотных протес-

тов», когда риторический восторг от создания лозунгов, а также сам телесный опыт говорения на публике перед большим скоплением народа постепенно стали осмысляться как провалившиеся, и очень часто это связывалось с конкретными техническими и институциональными условиями, которые перестали выполняться, — начиная с того, что митинги стали модерироваться, и заканчивая тем, что сцена становилась все выше, на ступеньках стала появляться охрана и свободная циркуляция слова была осложнена чисто технической и институционально (передачей микрофона). В силу той же своей своеобразной институциональной судьбы Дебре приходится самому создавать инфраструктуру для своих идей: в 1996 году он создает журнал «*Cahiers de médiologie*». В жюри на защите его диссертации присутствуют многие участники редакционного совета журнала, что можно назвать тоже примечательной ситуацией: сначала медиолог создает чисто технический орган излучения своих идей, а впоследствии получает относительное признание академией этих самых идей. Вследствие этого прагматику любых актов высказывания Дебре и погружает в плотную ткань институциональных принуждений (*contraintes*) и материальности коммуникации (как это примерно в это же время называет Гумбрехт), и все это основывая на собственном опыте, телесно-техническом и организационно-коллективном. Теперь посмотрим, что это все могло бы значить для исследований культуры, к примеру российской или русскоязычной культуры (непонятно, как ее теперь и называть — навряд ли просто русской, как корабль); а если в нашей нынешней ситуации объектом будет являться эта самая культура, то точка, инстанция, из которой происходит исследовательская инициатива, размещается неизбежно после 24 февраля.

В ходе своей работы над диссертацией я уже скорее отстраивался от этой исконно французской дисциплины, поскольку, с одной стороны, Швейцария (где я писал диссертацию) находится между двумя традициями, и излучение немецкой интеллектуальной традиции там ощущается не менее сильно, а с другой стороны, сама русскоязычная культура, исследованием которой я в основном занимался, оказывается в таком же положении между перекрестными влияниями или даже опылением французской теоретической традицией и немецкой на протяжении XIX века. В современной ситуации медиология может оказаться дисциплиной довольно опасной, потому что если чесать не только историю, но и методологию против шерсти, может статься, что мы находимся не в пресловутом 1937 году, как принято считать в социальных сетях, а, например, неожиданно в 1855 году, в момент поражения в Крымской войне, аналогии с которой фразпируют, но в то же время и допускают умеренный оптимизм, поскольку после этого поражения приходит совершенно новый период общественной жизни и расцвет наук и искусств, как будто непредсказуемый. Ну и, чтобы держать в уме параллельно немецкое влияние, надо сказать, что война — довольно частый кейс для исследований медиаархеологического толка, назовем это даже исследованием перевооружения науки и литературы. Так, для немецкой традиции медиаархеологии, которую представляют Фридрих Киттлер и Бернхард Зигерт, мировая история вообще оказывается глобальной писательской ассоциацией; а уж XX век и вовсе такой постоянно переоборудуемый бункер, в котором происходят все новые и новые изобретения. Так, к примеру, с Первой мировой войной для каждого из каналов (акустического, оптического или цифрового) появляются электрические технологии передачи — радио и телевидение. А начиная со Второй мировой войны, кото-

рой они особенно любят заниматься в таком изобретательно-пораженческом духе, схематика печатной машинки (в версии машины Тьюринга) становится технологией (де)кодирования. Вывести из этого факта технического изобретения — радио или печатной машинки — следствия для современных им литературных техник в принципе не сложно. Однако мне кажется, что французская версия медиатеории интереснее тем, что она склоняется не столько к археологии медиа, и в этом смысле она менее детерминистично и каузально настроена, но при этом дает больше возможностей для обратных заимствований, то есть заимствований наукой и техникой из литературного воображаемого или из вымечтанных литературой диспозитивов.

Итак, как работает медиология? Возьмем тему нашего круглого стола или ту конститутивную для русской культуры формулу, которая тут угадывается: о словах и делах поэта. Это пушкинская формула, никто точно не может сказать, как и когда она была произнесена, но мы все знаем, насколько важные последствия она имела для отечественной традиции. Вся эта драма, это *qui pro quo* слов и дел разворачивается в лингвопрагматических координатах, о которых говорил уже Олег. И здесь действительно не обойтись без аналогий, может быть, небесспорных, но неизбежных, просто чтобы как-то локализовать это методологически, — аналогий с Рикером и Остином. Если переписать в прагматических терминах эту формулу, можно сказать, что романтизм, преодоленный Пушкиным на уровне стиля, сохраняется на уровне философии языка, поскольку если слово в этой формуле и не противопоставляется некой безупречной в своей неизреченности мысли (как в другой формуле), то только потому, что оно сближается с речевым действием или актом высказывания. То есть слова поэта приравниваются к его делам — при всей неоднозначности вектора и невозможности понять, то ли подразумеваются некоторые оперативные действия поэта и гражданина при помощи слов или даже подчинение поэзии задаче социальной критики, то ли, наоборот, некоторая скидка, освобождение поэта от непосредственного гражданского участия, потому что он пишет хорошие стихи. По моей версии, одно слово в этой формуле, редко замечаемое, говорит скорее о втором варианте: «уже» подразумевает, что слова поэта уже его дела, значит, с делами можно, в принципе, не торопиться, а просто располагать лучшие слова в лучшем порядке (точно так же, как поэт может не доезжать до декабристского восстания в силу символическо-логистических обстоятельств, в отечественной традиции он может и не доходить до дел, если его слова действительно в романтическом ключе оказываются лучшими в лучшем порядке). Проблема не в самом этом представлении XIX века о действенности слова (возможно, вполне обоснованном в свое время), а в том, что оно не обновлялось ввиду появления новых коммуникаций, и этой формулой продолжают щеголять в XX и даже в XXI веке те, кому необходимо оправдать свою институциональную стратегию или свое политическое бездействие. В этом смысле медиология дисциплина политическая, а не только основана политическим активистом.

Итак, если романтическая философия языка, выраженная в этой формуле, подразумевает, что романтический поэт не может знать, как это позже будет сказано, чем слово наше отзовется, то при этом в силе последствий он вроде бы не сомневается. То есть романтическая философия языка относится к словам как действиям, однако недооценивает институциональные условия их эффективности. Можно сказать, что поэт отказывается контролировать прагматические эффекты высказывания и плохо осведомлен об институциональном и тем

более физическом устройстве среды его распространения. Ведь, чтобы обеспечить эффективность сказанного, необходимо учитывать еще и материальную организацию — быт, а не одну только силу слов. И здесь мы переходим к ограничениям уже не только пушкинской, но и собственно прагматической философии слов как действий и действий как слов, потому что мы говорим уже не только об институциональном устройстве среды (что дополнительно после Остина социологизировал Бурдье, когда писал о социальных условиях успешности высказывания). Мы говорим еще и о техническом устройстве среды, о материальном быте, и вот здесь начинается территория медиологии. Медиолог — это прагматик, как подчеркивает Дебре, но не только. Он не отказывается от выводов лингвопрагматической философии, но показывает, что этого недостаточно и необходимо обратить внимание на физические условия распространения сигнала.

Русские формалисты в свое время предложили ряд понятий, которые будут пытаться закрепить литературное высказывание в какой-то среде, впрочем, весьма абстрактно понимаемой. Я имею в виду, конечно, понятие литературного быта или более производственное понятие «второй профессии» у Шкловского. Сюда же можно добавить понятие литературной личности у Тынянова. Все эти теоретики пытались отдать должное тому факту, что слова существуют не в вакууме, а в некоем прагматическом растворе, включающем не только знаки, но и их пользователей, контекст дел, действий, а то и социальной (хотя, может быть, это социальность самой литературы). Но несмотря на обильную индустриальную фразеологию и технические метафоры (в основном у Шкловского), здесь все равно не хватает техники. Рассуждения о быте, второй профессии становятся намного конкретнее и, как мне кажется, интереснее, если дополнить формализм технологическими рассуждениями, предложить апгрейд до техноформализма и обратить внимание на материальные носители и институциональные условия, материализованную организацию и организованную материю, как это называет Дебре. Так, к словам и делам, которые существовали в плотном сотрудничестве со времен Пушкина, у формалистов добавляются вещи и как-то начинают действовать. Другими словами, успешность высказывания оказывается обязанной уже не только риторическим добродетелям и социальной ситуации, но и материально-технической среде, в которой оно совершается. Причем это же сразу и историзует высказывание. Философия языка может существовать совершенно в вакуумной внеисторической ситуации: вот какие-то слова, какие-то дела поэта, какой-то текст, какое-то высказывание. Но, как только мы говорим о материально-технических условиях, мы не только технологизируем речь, но и историзуем условия ее успешности, поскольку распространение сигнала с помощью радиосети или с помощью клавиатурного набора помещает это высказывание — именно это, а не какое-то другое, — сразу в очень конкретную историко-политическую ситуацию, а не просто изолированную от всего остального историю техники. Это значит, что политический проект, начинающийся с Просвещения и заканчивающий свою жизнь, возможно, на наших все более обращенных к экранам глазах, обязан своим успехом не только силе слов, но и материальной организационной инфраструктуре книги или газеты — в любом случае ротационному прессу, как утверждает Дебре.

Попробуем теперь не только дополнить формализм медиатехническим анализом (как и сами формалисты предложили новый взгляд на русский XIX век),

но и посмотреть, не было ли медиологических интуиций в самой отечественной традиции. В рассуждениях разночинной тенденции эти интуиции присутствовали, и можно выстроить их генеалогию на российском материале начиная с XIX века. Приведу цитату из Герцена: «...вся литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавлявшего всякое человеческое право. <...> *Слагая песни, она разрушала; смеясь, она подкапывалась. Раздавленная в газете, она возрождалась на университетской кафедре; преследуемая в поэме, она продолжала свое дело в курсе естественных наук.* Она проявлялась даже в молчании и сумела проникнуть сквозь стены и двери». И еще одна цитата: «У народа, лишённого общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Как и полагается, здесь все речевые акты переводятся в подрывное действие. Михаил говорил о неизбывной сервильности русской культуры — возможно, этому можно противопоставить какие-то контртенденции (кстати, очень часто вперемешку, особенно у Белинского). Каждое действие в этой цитате Герцен подает как подрывное, не просто перформативное, а милитантно перформативное: слагая песни, она разрушала, а смеясь, она подкапывалась. Еще интереснее интуиции Герцена, которые можно назвать медиологическими в собственном смысле слова, поскольку выясняется, что из естественной материальной среды обитания для XIX века, то есть газеты, литература помещается в нехарактерную для себя институциональную оболочку университетской кафедры, а во втором примере центральный литературный жанр поэмы конвертируется в риторическую процедуру научного цикла — курса естественных наук. И подобное смещение медиума (газеты) и жанра (поэмы) способствовало — во всяком случае, в воображении Герцена — сближению письменной процедуры и гражданского действия на уровне идей и метафор. Медиология здесь могла бы подчеркнуть еще раз, что она не прагматика, не риторика и не социология действия и что успеху этих протеических перерождений на службе антигосударственных настроений способствует определенная инфраструктура, в которой циркулируют все эти слова, а вместе с ними и идеи. Сама сила слов распространяется, по мнению Дебре, не бесконечно и произвольно, как это можно прочесть даже из этих уже посаженных на определенную материальность примеров Герцена, а только в той степени, в какой это позволяют материальные носители и институциональные установления. Можно даже перевести это на латуровский язык: настолько, насколько проложены институциональные и материальные рельсы для радикальных идей, настолько они и могли продолжать свою жизнь. Кстати, Латур и Дебре не только ровесники, но и у них были в свое время общие contributors, то есть те, кто писал в «Cahiers de médiologie» и одновременно работал в Институте исследований инноваций, — например, такой интересный исследователь, как Антуан Эньон. Дебре даже ссылается на Латура в своих манифестах; но понятно, что он в большей степени сосредоточен на культуре, а не на науке, когда это еще можно было разделить.

Так и получается, что в российской ситуации книга могла стать трибуной, потому что трибуна уже была обязана книге. Поскольку первый русский революционный печатный орган начинает действовать за границей, на физической дистанции от своей аудитории, то это и должно отражаться в его заглавной инструментальной метафоре: «Колокол». Если развивать это медиологическое

воображение и учитывать, что сигналу, в данном случае акустическому, требуется преодолевать физическую дистанцию, то, конечно же, журнал должен называться уже не «Русское слово» и тем более не «Русская мысль», а именно «Колокол». Это медиологическое воображение развивается и в последующих дополнениях и уточнениях: когда в том же самом «Колоколе» незадолго до того, как он смолкает, появляется публикация текста за подписью «Русский человек», то там предлагается уже «не благовестить к молебну, а звонить в набат». По аналогии с этим мне хочется предложить говорить не просто о «трансформациях гуманитарного знания» (всегда в целом прогрессивных и контролируемых), но именно об эпистемическом переделе.

Я заключаю, что на уровне такого инструментального анализа метафор тоже возможна ревизия отечественной традиции. Но главное в нем, конечно, само сочетание учета институционных условий и материально-технической обшивки, которая существует не только на уровне фразеологии (хотя и это тоже немало), не только на уровне названий журналов (в конце концов, иногда они были совсем другими, менее технически чувствительными), но еще и на уровне метонимическом. В отличие от инструментальных метафор, которые выносятся на обложку, технологическая метонимия связывает силу слов с тиражами, а саму возможность высказывания — с таким институционным обстоятельством, как отмена предварительной цензуры, которая дает возможность говорить о действительности, жизни или реальности только потому, что эти слова напечатаны в «Современнике». Переворачивая формулу, можно сказать, что все печатное было действительным, а все действительное — печатным, и в этом контексте можно даже говорить о периоде с позднего Белинского до закрытия «Современника» не только как о славном периоде русской мысли, сопротивлении унифицирующим государственным тенденциям, но еще и о примере работы чисто теоретического метода, примере идеологического эффекта возросших тиражей и соответствующих реформ.

Сергей Зенкин: Спасибо, Павел Арсеньевич. О важности того аспекта, о котором сейчас говорилось, свидетельствует хотя бы тот медиум, который в вашем выступлении ни разу не был упомянут, но в котором мы сейчас все с вами сегодня находимся, а именно интернет — важнейший инфраструктурный фактор всей современной идеологической и культурной жизни.

Ирина Прохорова: Тогда вот вопрос о самиздате, который немного подрывает эти рассуждения. Там было печатное, но неформальное слово; никто не знает, в каких количествах оно распространялось, в данном случае это тоже любопытно. Не очень понятно, были ли большие тиражи или небольшие, подсчитать это невозможно. Поэтому здесь, мне кажется, с точки зрения медиологии надо учитывать и такую специфику, когда иногда вместо чтения книги пересказывались на кухнях. Как это транслировалось — особая сфера, довольно интересная. В данном случае советская неподцензурная практика информационно и культурно может очень сильно подправить некоторые теоретические выкладки. Потому что были колоссальные официальные тиражи — что-то печаталось по тридцать-сорок тысяч экземпляров, и это считался небольшой тираж, а были варианты, когда на машинке сделано пять слепых копий и непонятно, через кого они распространялись. Поэтому здесь была бы очень интересна советская практика. Ваш доклад был очень важным, но любопытно,

как это было и в описываемое вами время, когда этот самый «Колокол» проникал из-за рубежа малыми тиражами, буквально единичными, и при этом как-то очень распространялся. Здесь было бы любопытно ввести еще какие-то параметры...

Павел Арсеньев: Я соглашусь с соображениями о самиздатских технологиях и тем более об интернете, но разница заключается в том, что если сегодня медиа повсюду, они omnipresent и поэтому не замечаются, то тогда, наоборот, их участие было сравнительно скромнее, но при этом воспринималось как значимая интервенция — в «человеческое общение», «общественную дискуссию» и тому подобное — пусть и ограниченного радиуса действия (ср. «Эрика берет четыре копии»). Хотя уже сама эта знаменитая фраза про «эрику», берущую соответствующее число копий, — это вполне конкретное эмпирическое указание если не на масштаб аудитории, то на плотность сетей распространения текстов, то есть опять же некоторый чисто медиологический параметр. Разумеется, ничто не мешает заниматься социологическими или статистическими выкладками или какими-то качественными исследованиями того, как одна и та же копия еще передавалась после того, как была взята «эрикой», но это будет не медиологией, а только рецептивистикой. Медиологически интересной здесь может быть сама социально-техническая асимметрия, при которой пять копий якобы оказываются могущественнее тиражей «Советского писателя» (если только мы не впадаем с этой гипотезой в диссидентскую аппроксимацию и не переоцениваем пресловутую венаходимость советских людей).

В случае XIX века, когда есть тиран и сопротивляющаяся ему редакция или поэт и просто его речь, эта медиологическая составляющая еще менее заметна. Все это еще менее предметно, чем в советские времена (от которых еще остались те, у кого брать эти качественные интервью). Но именно это определяет сложность эмпирического доступа и делает амбициозным поиск примеров медиологических интуиций такого переописания или передела именно там, а не в недавнем прошлом.

Николай Плотников: Вопрос Михаилу Маяцкому: откуда взяться русскому Адорно и русскому Ясперсу? Это вопрос не риторический. Появление их работ стало возможным в пространстве интенсивной этической рефлексии о структурах нормативного сознания в обществе и основных нормативных понятиях. Видишь ли ты какие-то интеллектуальные предпосылки для формирования такой критической нормативной теории в сегодняшней России, то есть теории, которая бы оказалась в состоянии рефлексировать произошедшую моральную катастрофу?

Михаил Маяцкий: Если очень быстро, то вопрос об ответственности и вине в последние дни очень часто возникает в медиа, естественно, не в просто медиа, а в социальных медиа. Поэтому я особо не беспокоюсь о том, что такой рефлексии не возникнет или нет достаточного интеллектуального потенциала, чтобы она была развернута. Специфика России, но на самом деле не только России, в том, что именно правосудие является одним из институтов, которые разрушены нынешним режимом, поэтому в рамках таких раздавленных институтов невозможно получить никакую правовую оценку происходящего. А то, что этическая оценка производится постоянно, это мы знаем, но она произво-

дится опять же в полярных — пока полярных — высказываниях типа «Один Путин виноват» и «Все вы, русские, замешаны», то есть это два противоположных тезиса, которые оба несостоятельны. Если только Путин виноват, тогда никто другой не виноват, а если все виноваты, тогда все виноваты одинаково. Чтобы не быть голословным, что есть потенциал, я вам покажу книжку, которой повезло, потому что она вышла до текущих событий, в 2021 году. Два юриста, Николай Бобринский и Сергей Дмитриевский, написали аналитический доклад на триста страниц «Между мстью и забвением. Концепция переходного правосудия для России»¹⁹. Нынешними событиями тогда еще не пахло, хотя понятно, что они в той или иной форме витали в воздухе. И речь у этих авторов идет именно о восстановлении самого правосудия, о вершении суда в условиях отсутствия или разрушенного правосудия. В институте права и публичной политики это очень артикулированное и, понятно, исторически уже во многом устаревшее, хотя и совсем недавнее высказывание, но даже для юридического осмысления происходящего есть потенциал, а что касается анализа философского и, шире, идеологического дискурса, ну вот тебе, Коля, и нам всем это задача на будущие годы. Спасибо.

Сергей Зенкин: Вопрос (через чат) Михаила Давыденко, по-видимому, адресованный Павлу Арсеньеву: можно ли изучать с предложенных позиций случаи, когда собирались воспоминания для проектов «Истории фабрик и заводов» и так далее?

Павел Арсеньев: Спасибо за вопрос. Я думаю, что у метода медиологии или материально-технической истории литературы нет каких-то привилегированных или табуированных периодов. Есть разные объекты, и какие-то из них лучше прилегают к методу, какие-то хуже, и как только появляется такой новый объект литературного описания, коллективное воспоминание или эмоция, конечно, возможно применение этого метода. Почему бы не написать материально-техническую историю эмоций путинской России и описать то, как в них соучаствовали оскорбленные чувства верующих, архитектура фейсбука и радикальный акционизм? Но с эмоциями просто сложнее работать, потому что их сложнее формализовать. Горьковская же «История фабрик и заводов» — это все-таки тексты, пусть даже несколько искусственно привязанные к определенной индустриальной обшивке, и в этом смысле здесь их можно и датировать, и технологически описать, а значит, попробовать увидеть, в какой степени они в свою очередь были обязаны индустриальному оптимизму, в какой — раннесоветской гордости, а в какой — литературной политике Горького.

Ирина Прохорова: Михаилу Маяцкому по поводу особого пути: мне кажется, что стараниями Андрея Зорина и его коллег подробно рассмотрен генезис «особого пути» как немецкой романтической философской традиции. Но если мы серьезно исследуем то, что называется дефицитарной парадигмой, то не правильнее бы было рассматривать ее в сравнительной перспективе: как складывается идея особого пути в разных странах под влиянием вынужденной, стре-

19 *Бобринский Н.А., Дмитриевский С.М.* Между мстью и забвением: концепция переходного правосудия для России: аналитический доклад. М.: Институт права и публичной политики, 2021.

мительной, догоняющей модернизации. Получаются очень похожие кейсы, но с точки зрения теории множественных модерностей, по-моему, это продуктивное направление мысли. Чаадаевские идеи особости и самоуничтожительности весьма характерны для большого количества культур, и в том числе Японии и Индии. Европеизированная, англизированная индийская элита тоже очень похожа на российскую с ее критикой невежественного народа. Очень много похожих кейсов в африканских странах, элита которых была насильственно европеизирована колонизаторами. Может быть, отойдя от «варения» в самих себе и постоянного самокопания, мы могли бы лучше понять специфику дефицитарной парадигмы как феномена модернизационного проекта?

Михаил Маяцкий: Да, «немцы — учителя наши» и в этом отношении. Германский дискурс *verspätete Nation* («запоздалой нации») послужил матрицей для российского догоняющего развития. Наряду с этой проблематикой множественных модерностей можно еще привести подход к частностям с точки зрения мировой истории. Французский историк Патрик Бушон возглавил огромный коллектив авторов, которые написали мировую историю Франции, «L'Histoire mondiale de la France», показав, что школярским, школьным образом обсуждать отечественную историю — французскую или в нашем случае российскую историю — это значит искусственно вырывать объект исследования из многообразия связей, которые его соединяют с соседями, с прошлым и будущим. И эта критика тоже способствует преодолению изоляционистского и рессентиментного подхода, была бы на то воля. Сам по себе этот дискурс, если он миноритарен, если он присутствует на философской палитре в качестве одной из красок, — почему нет. Но когда он возведен в квазиофициальную идеологию, когда этим занимается Институт философии Академии наук, когда это становится его главным идеологическим продуктом и когда параллельно (поскольку «совесть нации» в виде ведущих интеллектуалов ушла в перестроечное прошлое) нравственным мерилom пытается стать РПЦ, правда, всем понятно, с каким успехом, — тогда это рискует привести к последствиям, которым мы все являемся свидетелями. То есть проблема не в самом этом дискурсе, а в том, что он превращен в официальный и привилегированный.

Ирина Прохорова: Правильно, потому что никакого другого альтернативного дискурса не было и нет пока, но мы прекрасно понимаем, что власть занимает наиболее влиятельный дискурс или наиболее понятный...

Михаил Маяцкий: Власть назначает дискурс, который потом становится самым влиятельным. Есть полно дискурсов, в том числе и в русском, и во французском контексте. Я целое лето работал над одной главой немецкой книжки о российской философии за последние тридцать лет, кучу вещей для себя открыл, много всего там было. Но нет, сверху был сделан выбор совершенно определенный. Так же как делается выбор в области кино, например, где без государственных инвестиций трудно что-то сделать. Мы видим, в какую безвкусно патриотическую сторону государство склонно сегодня толкать творчество, то же самое в философии.

Павел Арсеньев: В дополнение к тому, что сказал Михаил: действительно ведь интересно, что если в случае кино производство сложно без финанси-

вания, но многие справляются все-таки, — то вот, казалось бы, философия только задним числом может быть назначена главной, но парадоксально, что и она нуждается в государственной поддержке.

Михаил Маяцкий: А где тут парадокс? По-прежнему есть преподавание, есть сотни тысяч преподавателей по всей стране.

Павел Арсеньев: Я имею в виду, что философия не такое затратное производство, как кино, и тем не менее стилизует себя под материально затратное производство.

Михаил Маяцкий: Эта самая цивилизационная парадигма, которая возведена практически в главную идеологему, моет мозги молодежи по всей стране.

Ирина Прохорова: Сергей, в начале выступления ты упомянул воображаемую иерархию наук, которая существовала в позднесоветском гуманитарном академическом мире. А мы сейчас можем говорить о иерархии нынешних наук, или вообще слово «иерархия» здесь неуместно, а у нас есть некоторая горизонтальная модель — модель наук, взаимодействующих друг с другом? Как ты видишь?

Сергей Зенкин: Мое собственное видение нерепрезентативно: я представитель поколения, которое выросло в Советском Союзе и впитало тогдашнюю топографию научного знания. Скорее всего, более показательным является ощущение младших поколений — тех, кому сегодня двадцать-тридцать-сорок лет: вот, например, Павел Арсеньев в лучшем положении, чем я. По очень неуверенному моему ощущению, сегодня в самом деле есть неопределенное — не то чтобы горизонтальное, но переменчивое — соотношение между разными дисциплинами, причем филология находится скорее на понижающейся траектории по сравнению с другими. Это видно по популярности профессии, по количеству и качеству студентов, приходящих на филологические специальности. В конце восьмидесятых — девяностые годы студенты-филологи передовых, наиболее серьезных вузов легко меняли профессию и становились политическими журналистами, политологами, иногда даже политическими деятелями, выдвигаясь на авансцену общественной жизни. Сегодняшние филологи, по-моему, к этому мало предрасположены, у них более узкие профессиональные амбиции, что неплохо для самоощущения в профессии, но говорит о сужении общественных рамок филологии.

Михаил Маяцкий: В дополнение: у меня тоже возник этот вопрос, но я просто боялся, что упустил из твоего выступления это слово — мне казалось, что ты даже слова «антропология» не произнес, а это ведь, на мой взгляд, нынешняя царица наук. Пусть она тайная царица, подпольная, эзотеричная, элитарная, но это явная альтернатива филологии.

Сергей Зенкин: В общем, да. Можно напомнить давний, но важный манифест Ирины Прохоровой в НЛО о переориентации журнала с узкофилологической на антропологическую проблематику. Да, в той аудитории, где мы находимся, это весьма актуальная традиция. Сложность с сегодняшней антро-

пологией в том, что ее трудно отличить от других наук. Это не антропология английского образца, которая занимается первобытными традиционными обществами, это не антропология немецкого образца, которая занимается уделом человеческим в общем виде, это скорее другое название для того, что называется сегодня на Западе *cultural studies* и отличается как раз очень широкой и неопределенной своей референцией. В любом случае это некоторое расширение и даже отрицание традиционного филологического текстуального центризма.

Павел Арсеньев: Раз уж я нахожусь в выгодном положении, как было сказано, для этого суждения, видимо, должен тоже ответить. Помимо описания иерархий и отказа от иерархических отношений между науками (в самом вопросе уже заключена горизонтальность отношений), я хотел бы сказать не о том, кто является царицей, если еще можно так сегодня выражаться, наук, а о том, какой тип субъективности или эпистемических добродетелей сегодня кажется заслуживающим внимания. Если ставить вопрос, где филологи по отношению к другим специалистам, какую роль они играют в общественной жизни, — мне кажется, все это вопросы не очень точные, то есть тут нужно скорее спросить о том, а где еще водятся эти чистые филологи. Вот было сказано, что на этом мероприятии их нет, тем самым стало понятно, что, чтобы говорить даже о филологии, могут оказаться полезны некие внешние опыления. Точно так же субъективность сегодняшнего исследователя в существенной степени смещена не в сторону чисто академических заслуг, иерархии и так далее, а в сторону некоей роли, может быть, исследователя как организатора — по аналогии с автором как производителем. И такой тип гибридной идентичности исследователя, вовлеченного в публичные процессы, оказывается более привлекательным в том числе для молодых преподавателей, чем чисто библиотечное заточение... Во всяком случае такие фигуры, как известный поэт, противостоящий вырубке леса, или успешный математик, выдвигающийся в муниципальные депутаты, кажутся вполне достойным продолжением той отечественной радикально-демократической линии, о которой я говорил выше.

Олег Хархордин: Думаю, что вопрос об иерархии разных дисциплин не стоит, учитывая, какое количество дипломированных филологов производится, согласно официальным классификациям профессионального выпуска в Российской Федерации, — по сравнению с теми, кто занимается, например, политическими науками. На самом деле превалирование филологии отчасти связано для российской культуры и с тем, что все понимают, что открытое размышление о политике после разгрома декабристов и последовавшей николаевской реакции на случившееся было невозможно, как и политическая философия, и размышление о свободе и достоинстве; все эти размышления ушли в литературу. Поэтому сейчас, по-моему, фактом является не то, что кто-то филологию заменяет на дискурсивном междисциплинарном троне или пытается сделать ее недоминантной наукой, а возникновение других дискурсивных полей, где есть своя внутренняя иерархия. Например, в прошлом году была зарегистрирована Российская ассоциация политической философии как юридическое лицо, и в принципе это означает, что сложилось другое дисциплинарное поле. С точки зрения социологии знания важно, по Бурдьё, что в каждой из дисциплин

лин складывается свое поле со своими позициями, взаимоотношениями. То, что эти поля каким-то образом перекрещиваются, это естественно, но как раз динамика последних тридцати лет состоит в том, что рядом со сложившимся полем филологии (которая вынуждена была, пока не было социологии, политических наук и политической философии, заниматься тем, что Эткинд обозначил как культуральные исследования, то есть говорить литературным языком об общественно-политической значимости), наконец оформились другие дисциплины. Кстати, интересно, как сложившиеся дисциплины и филология будут развиваться в ближайшие три-четыре-пять лет в своей оценке происходящего и в реакции на происходящее.

Ирина Прохорова: У меня еще один вопрос как раз по поводу доклада Олега Хархордина. Мне кажется, очень важный момент — это попытка опереться на отечественную традицию, которая долгое время не рассматривалась как реальный тренд и возможная точка опоры. Можем мы сейчас поговорить о том, что есть еще какие-то точки опоры из наработанного российской гуманитарной наукой? Скажем, мы говорили о филологии, но из практики НЛЮ у меня есть ощущение, что произошла как раз экспансия филологии в другие дисциплины. Мы видим антропологизацию гуманитарного знания, которая прошла по всем дисциплинам, но так же и ведущие филологи с конца восьмидесятых проделали интересную эволюцию, не отказавшись полностью от текста, но при этом уже совершенно по-другому вписывая его в свое научное исследование. А где еще были перспективные направления, которые позволяют выстроить какую-то систему знания? Или мы совсем не можем это вычленить? Но вот Олегу удалось, например. Есть ли еще возможность что-то найти из того, что было наработано к концу восьмидесятых годов? Мы знаем, что наш почти единственный продуктивный экспорт — это Бахтин, которого, кстати, не мы подняли на знамя, а западные слависты и выстроили вокруг него колоссальное количество исследований. Какие у нас еще есть предметы экспорта, которые мы не удосужились предложить?

Олег Хархордин: Лотман — второй предмет экспорта, совершенно очевидный.

Ирина Прохорова: Ну да. В меньшей степени, как ни странно...

Сергей Зенкин: Русский формализм — третий, не уступающий бахтинской индустрии. Это опять же экспорт традиции, достояния прошлого, а не современных знаний и достижений.

Ирина Прохорова: За тридцать лет тоже много наработано: и появление новых дисциплин, и трансформации в дисциплинах. А на каком фундаменте может все-таки строиться новая эпистемологическая база альянса дисциплин? Да, антропологический вектор мог бы это скрепить, ну а есть ли собственно наши и недавние традиции? Такой, простите, детский вопрос, но он для меня всегда очень важен.

Павел Арсеньев: Попробую дать детский ответ на него. Мне кажется, тут стоит задаваться вопросом не о том, что еще есть в запасниках или что сейчас может пойти в качестве экспорта (по аналогии с импортом и его замещением),

а о самой модели, предложенной Олегом в той статье о гомилетике. Или же вот предложенный мною апгрейд формализма до техноформализма, также опубликованный в НЛО. Альтернативой по отношению к экспорту, которая не стремится что-то экспортировать, навязывать (что не лишено некоторого колониального аффекта, а то и экспансионистского рефлекса), могло бы быть стремление модифицировать и обновлять, перепрошивать отечественную традицию, будь то XVIII век, или XIX, или даже XX. То есть сама русская теория, как это Сергей Николаевич назвал, уже этаблирована, дальше необходимо подвергнуть ее ревизии, решительному пересмотру, чтобы отделить в ней прогрессивное от обскурантистского, чтобы развивать ее далее на новых основаниях и в новых терминах. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы говорить о формализме, но с некоторым сдвигом в сторону техники.

Сергей Зенкин: Да, конечно, нужно научиться давать в мировое обращение какие-то современные, а не только старые, из запасников извлеченные, пусть и очень ценные идеи. Только это не связано с колониальной ситуацией, потому что экспорт — совершенно нормальное занятие любой страны, даже самой высокоразвитой. Вопрос лишь в том, *что* она экспортирует. Россия экспортирует сырье, а российская наука экспортирует старые идеи, которые были выработаны уже сто лет назад... некоторые из них.

Олег Хархордин: Вы же со мной даже участвовали в этой конференции в Школе перспективных исследований в Тюмени год назад, где описывалась ситуация с нашими гуманитарными науками как *resource curse* — проклятие того, что мы поставляем в основном сырье и иногда делаем импортозамещение, пишем свои учебники на западные темы, но редко занимаемся вывозом знания, привлекательного для западного или восточного потребителя, на мировой рынок. Ну и, вы помните, в заключение этой конференции было предложено очень мало методов, которые можно экспортировать. Павел упомянул трансформируемый формализм, я настаивал на гомилетике пятнадцать лет, но мало кто это услышал, потому что это не дистиллировано как понятный, преподаваемый метод, который можно освоить. Еще один пример: в 2015 году я написал статью для «*American Historical Review*» о развитии гуманитарных наук в России²⁰ и там выделил пять сфер, где экспорт мог бы быть возможен, — исходя из того, что нам традиционно приписывается как сильные стороны знания. Одно из них, например, — это византистика, она у нас в НЛО не очень сильно представлена, но Александр Каждан, извините, — это очень сильно. Все, кто доходили до Дамбартон-Оукса, библиотеки в Вашингтоне, — знают, что это тоже очень здорово. И конечно, у нас активно публикуется по-английски Сергей Иванов, он признанный мастер международного жанра. Но если бы нашу византистику еще раз сделать основой международной дискуссии, было бы очень хорошо. Я удивился, например, когда предпоследний номер «*Slavic Review*» взял мою статью о Византийской республике и привлек для ответов на нее трех авторов, два из которых обычно в «*Slavic Review*» не публикуются. Там был Мигель Ваттер, политический теоретик, Энтони Калдел-

20 *Kharkhordin O. From Priests to Pathfinders: The Fate of the Humanities and Social Sciences in Russia after World War II // The American Historical Review. 2015. Vol. 120. Iss. 4. P. 1283—1298.*

лис, историк и классицист, и Нэнси Колман²¹, которая занимается средневековой Русью, она, конечно, внутри Russian studies. Вот один из наших факторов возможного роста, который пока нами игнорируется, а это же большая традиция. Кстати, специальный номер НЛО по возрождению этого с редактором в лице Сергея Иванова — было бы очень здорово.

Ирина Прохорова: Я только за! Забываем идею, пусть никто больше не берет.

Сергей Зенкин: Если обобщить, то речь идет о развитии интеллектуальной истории, но только такой, которая не просто изучает мертвые тексты прошлого, а ищет в них живые идеи для будущего. Конечно, предметом ее может быть не обязательно своя, отечественная история, но и чужая, очень старинная, в том числе византийская.

Ирина Прохорова: Здесь есть очень важный момент: мы уже давно не разделяем российское гуманитарное знание и зарубежные наработки в русистике. С начала девяностых годов они стали наконец сообщающимися сосудами, и до сих пор уже в практике не только журнала, но и издательства «Новое литературное обозрение» видно, сколько мы переводим работ, особенно американских; очень продуктивное сотрудничество, и его можно было бы дальше развивать. Целый ряд более поздних наработок — это все, что связано с изучением сталинизма и давно уже развивалось в зарубежной русистике. По понятной причине теперь неизвестно, как дальше будет развиваться взаимообмен, но, во всяком случае, импорт пока продолжается, хотя насколько мы это до конца проанализировали, тоже вопрос. У меня есть все время какое-то внутреннее ощущение, что мы не до конца внимательно отслеживаем то, что было сделано, неважно, там или здесь. Недавно в неформальной беседе обсуждали с рядом коллег, в том числе и с Андреем Зориним: а почему у нас не появляются новые школы? Не знаю, возможны ли вообще сейчас научные школы в мировой гуманитарной среде... потому что их нигде особенно не видно, но через тридцать лет постсоветского развития логично было бы предположить, что в России начинают складываться какие-то центры научной мысли, которые влияют на дальнейшее развитие гуманитаристики.

Сергей Зенкин: Ирина Сандомирская оставила в чате реплику: «Мне кажется, русская/советская гуманитарная мысль вообще в основном обязана людям, которых в науку не очень пускали», которые в силу этого не могли создать никакую устойчивую школу. Действительно, есть такая повторяющаяся ситуация в советской и постсоветской науке, и мы, возможно, продолжаем переживать ее.

Ирина Прохорова: Вообще-то формализм начинался совсем не в академической реальности, так и многие школы возникают не обязательно внутри ака-

21 См.: *Kharkhordin O. Authority and Power in Russia // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 469–488.* Полемика, о которой упоминает Хархордин: *Kaldellis A. Response to “Authority and Power in Russia” // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 489–491; Kollmann N.S. A Muscovite Republic? // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 492–497; Vatter M. The Third Rome and Russian Republicanism: A Comment on Oleg Kharkhordin “Power and Authority in Russia” // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 498–503.*

демии: собственно, что сейчас мешает? Особенно с новыми технологическими возможностями.

Михаил Маяцкий: Формалисты как раз все-таки на периферии академии.

Павел Арсеньев: Я бы назвал их контракадемическими сепаратистами. Если можно, я подхватываю мысль: важнее не степень их включенности в поле (вообще топология академии — парадоксальная вещь), а скорее та роль, тот тип субъективности, который они являли, которому мы во многом обязаны привлекательностью их теории: положение между ролью поэта, критика, литератора и одновременно исследователя.

Олег Хархордин: У меня еще одно замечание: внутри академии школы-то складываются, но у нас нет рефлексии о том, как они складываются. Я, например, до последнего время серьезно не преподавал, был администратором от науки, у меня не было времени. А Александр Фридрихович создавал школу тридцать лет. Сначала это, казалось, переводы и укоренение в нашей мысли Карла Шмитта, и комментарии к нему, потом Гоббс, потом громадное количество интересных размышлений, у него супержурнал, супербольшое количество учеников, и никто это до сих пор не помыслил, потому что зачинатель школы жив. Вот лет через...

Ирина Прохорова: Так, извините. (Смех.) Мы нашли наконец причину.

Олег Хархордин: ...мы узнаем на самом деле. Нет, посмотрим, какие школы складываются, просто это осмысление задним числом и внешними комментаторами.

Сергей Зенкин: Я в качестве итога хотел бы сказать вот что. Мы, в общем, выполнили задачу, которую я держал в голове, придумывая этот круглый стол. Мы мало говорили о филологии как таковой, но мы все время говорили о том, что филологию преодолевает, что находится по ту сторону филологии, что она должна иметь в виду. Недаром Александр Филиппов вспоминал о преодолении события, о его сберегающем отрицании, что, конечно, есть вариант диалектического снятия. По-видимому, разные дисциплины, разные подходы в гуманитарных науках сегодня все по-своему преодолевают филологическую традицию. Например, ищут возможность видеть за повторяющимися текстами некое необратимое событие — одно из таких фундаментальных событий мы переживаем сегодня, на нашу и не только нашу беду. Или же можно искать, как говорил Олег Хархордин, собственный действенный потенциал слова. Или учитывать, как предлагал Павел Арсеньев, материальную оснастку слова, которая непосредственно влияет на его возможности: что мы можем и что не можем сказать. Или, наконец, обращать внимание на такие опасные тенденции, как превращение самостоятельного слова в ширму, в симулякр для беспринципной политики, о чем говорил Михаил Маяцкий. Все эти проблемы должна учитывать филологическая мысль, если она хочет быть современной наукой и оставаться в равных отношениях с другими.

На этом я оставляю свои обязанности модератора — с большой благодарностью коллегам, которые продемонстрировали лучшее, что у нас есть сегодня

в гуманитарной рефлексии. Круглый стол закрыт, я передаю бразды правления Ирине Прохоровой.

Ирина Прохорова: Я хочу поблагодарить всех участников за этот продуктивный разговор. Идея повторения круглого стола на другом этапе развития гуманитарной мысли мне кажется очень важной. Действительно, были замечательные выступления и очень живая дискуссия, которая выявила очень много проблем и вопросов, которые, я надеюсь, будут обсуждаться и дальше.